

# ФЕТИСЫЧ

## Рассказ



Борис Екимов

Окончание. Начало  
см.: НО, 2003, № 6.

В классной комнате было тепло, зелено от цветов и все — за партами, даже Капустин-младший.

Обычно, когда учительница, уезжая, оставляла Якова старшим, ребятишкам под началом его приходилось туго. Старался Фетисыч. Лишний раз не скажи, перемены — короче, точно в срок. Но нынче в тягость была чужая ноша.

Братья Капустины примеры по математике решили, и Яков добавил им ещё одно упражнение. Маринка Башелукова, Кроха, тихо окликнула:

— Яша... У меня кончилось.

— Что у тебя кончилось?

— Букварь.

Яков подошёл к ней. Всё верно. Мария Петровна твёрдый знак с ней прошла. Хитрые слова «сел» и «съел». И как это бывало ранее: сначала — с ним, в прошлом году — с братьями Капустиными, — Яков сказал громко, повторяя слова учительницы:

— Давайте все вместе поздравим Марину. Она закончила свою первую книжку-букварь. Молодец, Кроха. Поздравляем тебя! Теперь ты человек грамотный.

— Ура-а!! — вылетели из-за парт братья Капустины — невеликие, крепенькие, горластые.

— Ура! — поддержал их младший Капустин.

— Перемена! — объявил Яков. — Десять минут, — и первым было кинулся в класс соседний — спортзал, чтобы кольца занять и покувыркаться. Но опаматовался, когда старшая Капустина, его одногодка, тоже Марина, спросила:

— Яша, а Мария Петровна не придёт?

— Не придёт.

— Я к ней схожу. Может, сварить надо. Ладно?

Марина Капустина — старшая дочь в большом семействе — в девять лет уже хозяйкой была, помогая в делах домашних и учительнице, когда та хворала. Добрая девочка, рослая, чуть не на голову выше Якова, ровесника своего.

— Подожди, — остановил её Яков, — уроки кончатся.

К перемене второй, «большой», как её называли, на горячую плиту печки ставили чайник, а в жаркий духовой шкаф — блинцы ли, пышки, пироги — кто что из дома принёс. Чайник запевал свою нехитрую песнь, закипая, и кончался второй урок. Накрывали клеёнкою учительский стол и рассаживались вокруг. Так было всегда. Так было и нынче: пахучий чай с душицей, зверобоем да железняком. Варенье — в баночках. Домовитая Марина Капустина, словно добрая мамка, всем поровну делит:

— Тебе — блин, тебе — блин, тебе — блин, тебе — сладкий пирожок, тебе — пышку с каймаком. Ты же каймак любишь...

— Люблю, — тихо призналась Кроха. — У нас тоже Катька не ныне-завтра отелится.

— Когда отелится, гляди, ничего из дома не давай три дня, — наставительно сказала Марина-старшая. — А то узнает ведьма и загубит корову. Для них коров губить — первое дело.

— А кто у нас ведьма? — так же тихо спросила Кроха, теперь уже пугаясь.

— Раньше Карпиха ведьмачила, — ответил Яков.

— Карпиха, — подтвердила Марина-старшая. — Мамка рассказывала. Летось корова отелилась и мычит, бесится, куда-то рвётся. Позвали деда Архипа, он в этом деле понимает. Архип молозиво на сковороду и — на огонь. Помешивает и молитву читает. А мамке приказал: «В окно гляди. Кто пройдёт мимо и его будет корёжить, это — ведьма». Мамка глядит — точно, идёт Карпиха и её вправду корёжит: то остановится, топчетя, то кинется назад, то опять ко двору. Как кружёная овца. Значит, точно она.



Кроха слушала, про пышку и каймак забыв; зато братья Капустины под разговоры полбанки варенья опорожнили, накладывая кто больше, пока сестра не пригрозила им.

— Карпиха точно ведьмачила, — подтвердил Яков. — Она и померла по-своему.

В самую пургу ушла к ярам. Туда её черти призывали. Там и померла.

— А теперь кто у нас ведьма? — спросила Кроха.

— Кто-нибудь да есть, — твёрдо ответил Яков. — Надо приглядывать. Ведьмы грома боятся. Порчу наводят. В свежий след сыпет и приговаривает. И человек ли, скотина сразу на ноги падает. Ведьма в кого хочешь обернётся. Вот тут, — показал он на печку, — на загнетке, на ножах перевернётся — и в другой облик. Захочет — в белого телка, или в рябую свинью, или в зелёную кошку. А через чёрную кошку, — добавил он, — всякий может невидимым стать. Хоть я, хоть кто другой. Рядом пройду — и ты меня не увидишь.

На него воззрились удивлённо.

— Надо поймать чёрную кошку, но чтобы жуковая была, без подмесу, — учил молодых Яков. — Посеред ночи поставить казан на перекрёстке, костёр развести и варить её. Да, кошку. Лишь по сторонам не гляди, а в котёл. Вдруг нечистая сила слетится, будет шуметь, свистеть, кричать по-звериному. Не оглядайся. По имени тебя будет звать, вроде мамка твоя зашумит: «Петя!» А ты не оглядайся. Оглянулся — конец, — предупредил Яков. — А ты вари и помешивай, вари и помешивай. Нечиста сила вокруг воет, ревёт, а ты своё дело делай. Останется в казане лишь мала косточка. Её надо ощупкой, не глядя брать. Берёшь и кладёшь меж губ. Сразу тихота настанет. Нечистая сила — по сторонам. А ты сделаешься невидимым. Вовсе невидимым. В любой дом заходи, куда хочешь. И тебя не увидят.

— А у деда Архипа чёрная кошка, — сообщил самый младший Капустин — «довесок».

— Точно! — в один голос подтвердили его братья и переглянулись.

— Это всё неправда, — поняв их мысли, сказала Марина-старшая. — Неправда ведь, Яша?

— Старые люди говорят... — пожал плечами Яков. — Перемена кончилась, — объявил он. — Давайте по местам.

Снова пошли уроки. Яков словно забыл о смерти учительницы: непросто было глядеть за ребятами, давать им задания, объяснять да и своё делать. После третьего урока Яков сказал Крохе:

— Марина, можешь домой идти.

Но Кроха, как всегда, отказалась. И стала готовить домашнее задание, на завтра. В школе было веселее, чем дома. В куликалки будут играть, прячась в пустых классах. Может, картошку напекут.

А за окном тянулась поздняя осень. Дождь временами переставал, а потом снова сеялся, и тогда затягивало серой невидью высокий курган за хутором, крутую дорогу через него. Лежала под окнами пустая улица, за ней — вовсе пустое поле на двадцать пять вёрст до центральной усадьбы, станицы Ендовской. А в край другой, через займище, десять километров до богатого хутора Алёшкина, который при асфальтовой дороге стоял. Но те десять километров были длиннее: лежало поперёк пути лесистое займище, да две глубокие балки — Катькин ерик и Кутерьма, да ещё речка нравная — Бузулук. Будто и рядом хутор Алёшкин, но брызнет дождь — на тракторе не проедешь, зимой в снежных перемётах утонешь. А тут ещё объявились ненашенские, с рыжим подпалом, волки, вроде из Чечни прибежали. Там стреляют, вот они и подались, где потише.

Про чеченских волков говорил не только старый брехун дед Архип, но сам лесничий Двужилов. Он видел этих волков не раз: поджарые, с рыжиной на брюхе.

И когда неделю спустя Яков надумал идти в хутор Алёшкин, мать пугала его:

— По такой погоде... Черти тебя поджигают. Тем более — волки. Чеченские. Враз голову отхватят.



Яков стоял на своём:

— Пойду. Десять километров. Обернусь к обеду. Там наша Галина Фёдоровна, она всех знает, она найдёт нам учительницу. А то так и будем сидеть.

— Натурный... — ругалась мать. — Бычок упористый... Потонешь в Каткином ерике... Там вода верхом идёт. Переждал бы дождь... Люди поедут, я попрошаю.

Яков слушал её, но сделал, как всегда, по-своему: он ушёл рано утром, лишь засе-рело. Поверх пальто от дождя натянул старый материн болоньевый плащ. И пошагал. А от волков отчим Фёдор дал ему две ракеты. Дёрнешь за шнурок — она стрельнёт.

От хутора, мимо фермы, напрямую до самого займищного леса Яков продвигался вприскок: пробежит — и пойдёт потише, снова пробежит — и опять отдыхает на ходу. Нужно было скорей добраться в Алёшкин, поговорить и успеть вернуться в свою школу, к ребятам, которые будут ждать его.

Хоть и умерла Мария Петровна, но каждый день в школу сходились. Выбирался Яков из дома, свистел возле Капустиных и Башелуковых. Техничка тётя Варя топила печь. И уроки шли, как и раньше: по расписанию, с переменами. «Чем по домам сидеть, лучше в школе, — так Яков решил. — А то пропустим, нам же и догонять». Всё было как прежде, лишь без Марии Петровны. И нужно было искать ей замену.

Дорога была не раз хоженная и езженная: займищный лес, который то подходил к обочинам, и тогда остро пахло горькой корой и листвой, то отступал, пропадая в серой невиди. Порою вспархивали почти из-под ног куропатки с обрывающим сердце треском. И снова — тихо, угрюмо. Лишь дождевые капли шуршат по плащу. В пору погожую хоть и колесит дорога, обходя низины да мочажины, хутор Алёшкин виден издали на высоком берегу. Теперь — лишь серая мга, короткий окоём. Бурые травы, угрюмая зелень сосняка, раскисшая, налитая водой дорога, скользкие обочины — долгим кажется путь. И грезится всякое: какие-то серые тени в вербовой гущине колыхнулись — и холодок в груди. Ищет рука картонный кругляш ракеты. Может, волки?..

Опять колесит дорога. Нынче её не спрямишь, шагай и шагай. То обочиной, то колеёй, выбирая, где легче.

Школа в Алёшкине стояла посреди хутора, на речном берегу. Поднялся на бугор — и вот она: кирпичная, с высоким строением спортзала. При входе раздевалка, а возле неё сидит уборщица и платок пуховый вяжет.

— Ты куда? — сразу признала она чужого.

— К Галине Фёдоровне.

— Она на уроке. Лишь начался урок, — сказала уборщица и воззрилась на сапоги пришедшего.

Но сапоги Яков до блеска отмыл у входа, придраться не к чему. Лишь с плаща капало.

— А вызвать её можно? Я по делу.

— И она не гуляет. Жди, — постановила уборщица.

Коридор алёшкинской школы был просторный и нарядный: много зелени, на стенах большие стенды с фотографиями. Но ждать было не с руки. Урок — чуть не час, а дом Галины Фёдоровны — рядом. Туда Яков и подался.

Старая баба Ганя признала его и встретила, как родного:

— Моя сынушка... Откель? Весь промок. Либо пешки?

— Пешком, баба Ганя, пешком.

Баба Ганя не изменилась, той же живостью светились за стёклами очков глаза.

— Ты либо с матерью пришёл, в магазин?

— Один, баба Ганя. Мне Галина Фёдоровна нужна.

— Скоро надойдёт она. Кончится урок, надойдёт. Раздевайся. Сушись. Грейся у печки. А я скотине задам, будем завтракать.



— Я помогу, — сказал Яков и, не дожидаясь согласия, снял с вешалки рабочую телогрейку. — Ты лишь говори, баба Ганя, где у вас чего...

— Моя сынушка, да ты прямо хозяин... — поспешая за молодым помощником, наваливала баба Ганя.

Якову же домашние заботы были в привычку: курам — зерна, корове да козам — сена, свиньям — запаренного корма. Тем более что подворье директорши было устроено: не плетневые катухи, а кирпичные, под шифером стояла в один ряд. Вода — из крана. Сенник, закрома, скотья кухня — всё рядом. И не лужи да грязь на базу, а бетонные дорожки. Так что труды были невеликие. Управились скоро.

Баба Ганя накрывала на стол, а Яков дом успел осмотреть, комнаты его: кабинет с книжными полками во всю стену, горницу с креслами и диваном, с телевизором и видеком.

За завтраком он выкладывал старой женщине хуторское:

— Тётка Варя и бабка Наташа живые. Дед Андрей в больнице лежал, на станции.

Но еле ходит. А Мария Петровна наша померла, — сообщил он главную новость.

— Какая беда... Да как же...

К той поре поспела и директорша школы, Галина Фёдоровна. Услыхав о смерти учительницы, она даже всплакнула:

— Господи... Как мы её любили... Так вас и не стала до последнего. А схоронили где?

— В райцентре, дочка забрала, — сказал Яков и повернул на своё, ради чего и шёл: — Она померла, а мы остались ни с чем. Пятеро учеников: трое Капустиных, Башелукова, я. А учить нас некому. Может, вы нам поможете, найдёте учительницу?

Завтракали и слушали Якова.

— Как она померла, сообщили в сельсовет, оттуда в районо. Там велели перевести нас в Ендовку, на центральную усадьбу. Мы и поехали туда с дядей Витей Капустиным. У него трое в школу ходят, и Вовке на тот год идти. Поехали. Трактором едва добрались. Думали в интернат устроиться Там большой интернат, двухэтажный. А его закрыли.

— Сейчас их везде закрывают, — вздохнула Галина Фёдоровна.

— Закрыли и там. В школу нас берут, пожалуйста. А как добираться? Колхоз не будет возить. Горючего нет и вся техника поломана. Говорят, становитесь по квартирам. А квартиры в Ендовке — с ума сойти. Сдурели хозяйки. По сто тысяч требуют. Капустин как услышал, за голову схватился. Он где такие деньги возьмёт? Тем более за троих. Опупеть можно. У него зарплата — сто тысяч не выходит. И тех не дают с лета. Плюнул. Пусть, говорит, дома сидят. А Маринка Башелукова, та и вовсе — кроха. Куда её отпустят родители? Она у них одна при двух бабках. Те сразу с ума сойдут. Вот и всё... И как хочешь... Учительницу бы нам найти, — попросил он.

Галина Фёдоровна, оставив еду, слушала. Она была ещё молодая, но полная, при золотых очках, коса на голове короной — настоящая директорша.

Возле дома затарахтел мотоцикл и смолк.

— Отец наш приехал, — объявила Галина Фёдоровна. — Завтракать.

— Галина! — раздался из коридора голос. — Я пойду со скотиной управлюсь. Ты не давала им?

— Нет.

— Управились мы, управились в четыре руки с помощником, — горделиво сообщила баба Ганя. — Накормили и напоили.

— Молодцы! Кто у тебя в помощниках?

Муж у Галины Фёдоровны был тоже нестарый, но при чёрной бороде — по новой казачьей моде.

— Это чей такой? Либо землячок?

— Угадал.

— Спасибо, земляк. Мне легче жить.



— Предлагаю вам красную лампочку вернуть в курятник, — сказал Яков. — Я в журнале читал, в «Науке и жизни». Куры лучше несутся при красном свете.

— О! — удивилась Галина Фёдоровна. — В «Науке и жизни»? Надо попробовать.

— Ввернём, — пообещал ей муж. — Какие ещё будут предложения по ведению хозяйства?

— Козам пора гречишной соломы понемногу класть, — шутки не принимая, сказал Яков. — Скоро пух шипать. От гречишной соломы коза пух хорошо отдаёт.

— В журнале, что ли, прочитал?

— Дед наш всегда так делал. А без гречишной соломы потом трудно пух шипать.

— Правильно гутарит, — поддержала баба Ганя. — Делали так.

— Что ж, привезём гречишной соломы. А то ведь и вправду шипать их несладко.

Отзавтракали. Хозяин присел на корточках возле устья печки, подымить. Якову сварили напоследок кружку пахучего какао, печенья да пряников положили.

— Мария Петровна умерла, — сказала мужу хозяйка. — Школу у них закрывают. Нет учителя. А у нас в Фионовской никого нет? — задумчиво спросила она не столько мужа, сколько себя. — Татьяна Петровна на пенсии, она не пойдёт. Надо из молодых. Тамара Максимова в Михайловке в педучилище, на каком курсе? Её мать как-то спрашивала меня про место. Надо поговорить с ней. У них отца нет, сестрёнка младшая. На заочное можно перейти и работать.

— Не могла наша Петровна чуток потерпеть, — со вздохом попенял Яков. — Конечно, старая. Но хоть бы до зимних каникул доучила. А не... Неделя прошла. Так и месяц пройдёт, и зима. На второй год оставаться?

Так искренне было это мальчишечье, детское огорчение, что баба Ганя пожалела:

— А ты живи у нас. Школа — рядом. И мне будет с кем погутарить.

Предложение было неожиданным. Яков вскинулся и поглядел на Галину Фёдоровну и мужа её.

— Живи, — подтвердил приглашение хозяин. — Лампочку красную в курятник ввернём, куры усиленно занесутся, харчей хватит. — Ему понравился этот мальчишка. Свои сыновья этой осенью в город уехали: старший — в институт, младший — в техникум. Стало в доме непривычно пусто. — Живи, — повторил он.

Мальчик не мог ничего ответить, лишь глядел на Галину Фёдоровну, понимая, что последнее слово за ней. Она поняла его, сказала мягко:

— Живи. Комната свободная есть. С матерью я поговорю.

У Якова сердчишко колыхнулось от неожиданной радости. Поселиться в доме директорши, учиться в настоящей школе со спортзалом, где и зимой в футбол играют. А уж народу там... Школа своя вдруг увиделась в настоящем свете: пустой дряхлый дом со ржавою крышею, один-разъединный класс, Капустины да Кроха. Алёшкинская школа — дворец. А дом Галины Фёдоровны... Это не пьяный да похмельный отчим да мать с ругнёй: «Замолчи... Прикуси длинный язык...» Здесь — книг полная комната, все стены в полках.

— Я обещал к обеду вернуться, — сказал Яков. — Мамка ждёт.

— Конечно, конечно, — одобрила Галина Фёдоровна. — Сходи. Матери скажи. Я напишу ей записку. — И мужа попросила: — Ты куда едешь? Может, подбросишь его?

— До хутора не пробьюсь. Через ерики не пройдёт мотоцикл. Там круто и развезло теперь.

— Не пройдёт, — подтвердил Яков.

— Но до ерика довезу. Собирайся.

До Каткиного ерика — глубокой, с крутыми склонами балки с мутным ручьём по дну — могучий мотоцикл «Урал» докатил быстро. А далее, перебравшись через ерик,





Яков словно на крыльях летел. Ни дождь, ни грязь не были помехой. Дорога к хутору была уже дорогой к новому, к завтрашнему дню, когда он уйдёт в Алёшкин, в тамошнюю школу, к Галине Фёдоровне.

По-прежнему моросило. В займищном голом лесу было тихо. Даже вороньё убралось к жилью человеческого, к теплу. До ночи, до своей поры дремали на лёжках сытые кабаны. Рыжий, уже выкуневший лисовин, издали заметив мальчика, замер и не таясь переждал, пока он пройдёт. Пара тонконогих косуль лёгкими скачками ушла от дороги. По мокрой земле и листве скачки были бесшумными. Мелькнули белые подхвостья — и нет их.

Яков по сторонам не глядел. Он на хутор спешил, где ждали его.

Через дом родной он промчался, не успев похвалиться. Мать с отчимом на базах управлялись со скотиной. Ухватив сумку, Яков подался в школу, гадая: как там без него? И если в долгом пути на хутор ничто не омрачило неожиданно свалившегося на него счастья, то теперь пришло на ум иное: он уйдёт, а Капустины с Крохой останутся. Что будет с ними? И что со школой? Радость гасла. А уж о том, чтобы в школе похвалиться, и вовсе не стоило думать. Молчать надо было до поры. Но до какой?

В классе все были на месте и, будто за делом, ждали, что скажет он.

— С Галиной Фёдоровной повидался, — доложил Яков. — Обещала найти учительницу. Есть у неё на примете. — И разом перешёл к учебным делам: — Кто должен заполнять настенный календарь природы? Капустины, ваша обязанность? Почему не заполнили? И разом давайте тетрадки по природоведению. Задано было: живая и неживая природа зимой. Жизнь домашних животных, жизнь диких животных, труд людей... Все вопросы страницы пятидесятой и пятьдесят первой. У Маринки погляжу домашнее и вас буду проверять и спрашивать. Надо учиться, а не сидеть зря. Придёт новая учительница, а все отстали. А цветы не политы, — попенял он старшей Маринке. — Совсем свяли. Вон в алёшкинской школе сколько цветов... Они не забывают.

Ворчливым упрёкам своего старшего ребяты даже обрадовались. Без Якова было пусто. А теперь по-прежнему всё пошло: класс, уроки, строгий Фетисыч, словно смерть учительницы ничего не изменила в их жизни.

— А что отмечать? — забурчали братья. — Дождь да дождь.

— Вот и отметьте условным знаком дождь и температуру проставьте.

Легко поднялась старшая Капустина, стала поливать цветы. Затаив дыхание дожидалась у раскрытой тетрадки с домашним заданием первоклассница Кроха. Ждала, когда Яков подойдёт к ней и сядет рядом. Всё пошло по-обычному.

Но гость редкий, неожиданный — колхозный хуторской бригадир Каледин — уже обмывал возле крыльца сапоги. Из класса его увидели — и стали ждать.

А бригадир вначале обошёл школу, пустые её комнаты, где стояли столы и скамейки, висели на стенах портреты писателей да учёных, настенные планшеты, стенды: «Наши отличники», «Колхозные ветераны», «Они защищали Родину». Каледин когда-то учился здесь, и дети его через эти стены прошли, а с фотографий глядели лица знакомые. Кто-то теперь повзрослел, постарел, а кто-то и умер. Но жили вместе и долго.

Наконец бригадир пришёл в класс. Навстречу ему поднялись все разом.

— Сидите, сидите, — махнул он рукой и похвалил: — Тепло у вас, хорошо. Цветки цветут.

Он снял долгополый намокший плащ, телогрейку, оставшись в пуховом, домашней вязки, свитере. Яков было пошёл от учительского стола к своей парте, но бригадир остановил его:

— Сиди. Ты же теперь за старшего. Учись? — спросил он.

— Учимся, — ответили нестройно.

Бригадир был человеком суровым, немногословным, его в хуторе боялись

— А может, вам у Башелуковых собираться? — спросил он. — Хата большая, тёплая, и они не против.

У Якова перехватило дыхание.



— А библиотека? — бледнея от волнения, показал он на шкафы с книгами. — А наглядные пособия? А уроки физкультуры? Комиссия какая приедет, и будем не числиться. А беженцы, какие места ищут? Подъехали. Есть школа? Вот она, — убеждал он бригадира. — Значит, можно жить. А увидят замок — и развернутся.

— Верно, верно... — успокоил Якова бригадир. — Это я так, попытал... Будет Варя топить, приглядывать. Дров напилим. А там учительницу найдём.

Бригадир и в прежние годы не больно разговорчивым слыл, а ныне, когда всё вокруг прахом шло, он и вовсе стал молчуном. На людей не смотрел, ходил — «роги в землю». Но здесь, в школьном классе, глядя на ребятишек, на кипенно-белые банты в косичках крохотной Маринки Башелуковой, он как-то оттаивал, теплело на сердце. И ничего ребятишки от него не требовали, как все иные: ни работы не просили, ни денег, а просто глядели на него. И было приятно.

Карапуз Капустин вылез из-за парты с листом бумаги, не торопясь подошёл к бригадиру и показал ему своё художество, сообщив:

— Это я сам нарисовал.

— Здорово... — похвалил бригадир, разглядывая рисунок с цветами, деревьями и красным трактором.

Отогревшись, он стал одеваться. На прощание Якову руку пожал.

— Держись, Фетисыч. Учительницу найдём. А пока на тебя надёжа.

Он ушёл. На воле по-прежнему моросил дождь и не было просвета. В окне класса желтел электрический свет. Он помнил, как два года тому назад закрыли детский сад. Но целых два месяца, пока не настали холода, ребятишки собирались в пустом доме, играли. Они ведь привыкли — гуртом, словно телята.

В школе ребята, как обычно, пробыли четыре урока, потом все вместе ушли, расходясь не сразу. Проходили не улицей, а через разбитые дома, что тянулись вдоль улицы. На воле — дождь. А там, хоть и окон-дверей нет, а потолки ещё целы, не каплет. Покрутиться на вращающемся железном кресле в медпункте, залезть в глухую пещеру пустого холодильника, что стоял в магазине. А в клубе поиграть в прятки, хоронясь в будке киномеханика, в библиотечной комнате, в длинном коридоре. Помаленьку, но приближались к хатам своим.

Вернувшись домой, Яков вдруг понял, что день кончается, а всё осталось как прежде: ни матери не сказал, ни ребятам, что уходит в Алёшкин. С матерью было легче. А вот с ребятами...

Дома всё было как обычно: тихая Светланка, не пьяный, но крепко выпивший отчим, потом с фермы вернулась мать.

У Якова позади лежал долгий день, и его морило, тянуло ко сну. Он прилёг, чтобы вздремнуть, и разом уснул, мать его с трудом растолкала к ужину. За столом он сидел молча.

— Тебя ныне бригадир видел? — спросила мать.

— Он в школе у нас был.

— Охваливал тебя. На ферму пришёл, не ругался. Либо выпил чуток... Мы к нему приступом, а он головой покачал: «Бабы, бабы, — говорит. — Я бы сам закричал по-пожарному и убёг не знаю куда...» Тебя по двух раз похвалил. — И вдруг она вспомнила главное: — В Дубовке колхоз распускают. Районное начальство приехало, говорят, всё, забудьте про колхозную кассу, расходитесь и сами об себя думайте. Спасайтесь своими средствами.

— И правильно, — одобрил Фёдор. — Поделить всё.

— Вы уже поделили... Шалаетесь, как бурлаки... Всё тянете. Колхоз хоть плохой плетешок, а всё — затишка. Обещают овечками выдать зарплату. Может, дадут...

— Куда этих овечек. Сено травить?

— Резать да на базар.

— Сама повезёшь.



— А вот Виктор Паранечкин возит. Берёт у людей по дешёвке и везёт, торгует. Паранечка им не нахвалится.

— Перо ему в зад. А мне гребостно на базаре стоять. Мне лучше сутки в тракторе, безвылазно... Чем стоять кланяться всем.

— А шалаться — не гребостно...

Для Якова эти разговоры были известными. Кончались они одним — ругнёй. От стола он ушёл к телевизору, потом возил маленькую сестру на закорках, изображая коня. Ржал он по-настоящему, на всю хату. А потом снова потянуло его ко сну.

Он уснул и проснулся уже ночью, во тьме. Словно ударило его. Он видел во сне день прошедший: школа в Алёшкине, директорша Галина Фёдоровна, бородатый муж её, баба Ганя. Вроде виделось доброе, а проснулся в испуге. Они ведь ждать его будут, а он не придёт. Прийти он не мог, потому что нельзя было оставить свою школу. Тогда там всё кончится, рухнет. Не будет уроков, повесят замок, цветы помёрзнут. А через неделю — это Яков знал точно — школу разгромят. Сначала вынут стёкла. Говорят, они дорогие. Потом снимут двери, окна выдерут. И пойдут курочить. Первое время — по ночам, таясь. А потом среди бела дня, наперегонки, кто быстрее успеет. К Новому году от школы останется лишь пустая коробка с чёрными проёмами. Так растаскивали клуб, детский садик, медпункт. Так будет и со школой.

Без него всё пойдёт прахом. Ни Марина Капустина, ни братья её, ни тем более Кроха без Якова ничего не смогут. Лишь он знает, как тетради проверять, ставить отметки. Его Мария Петровна учила.

То, что прежде было гордостью мальчика, стало вдруг горем. Потому что нельзя было уйти в Алёшкин, к Галине Фёдоровне. И от бессилья что-либо изменить Яков заплакал. Он плакал редко. «Бычок упористый...» — говорила мать. А теперь хлынули слёзы, и казалось, не будет им конца. Горячие, волна за волной, они накатывались из груди. И мальчик плакал и плакал, пока не уснул.

Снова снилась ему школа, теперь своя, но такая похожая на алёшкинскую: с просторными светлыми коридорами, с плетучей зеленью по стенам и потолку, со стеклянной оранжереей. И будто он, Яков, вёл по школе и показывал её своей старой учительнице, Марии Петровне. Учительница ахала, удивлялась и хвалила Якова: «Молодец...» А вокруг шумела детвора. Много ребят. И за стенами школы, на хуторской улице, былолюдно. Просто кипел народ, как на базаре. Голова от людей кружилась. А Мария Петровна всё хвалила Якова и хвалила: «Молодец, молодец...» — и гладила его по голове горячей ладонью. Было сладко на душе от этих похвал, слёзы подступали. И Яков не сдержался, заплакал. А горячая ладонь гладила голову мальчика и лицо, вытирала слёзы, и добрый голос шептал и шептал: «Ну чего ты, сынок... Ну чего ты плачешь... Ну проснись, не плачь...» И горячие слёзы сушили слёзную влагу.

Это мать, сердцем почуяв тревогу и боль, услышала и пришла, сидела на краю постели сына и не хотела резко будить его, боясь испугать, и шептала:

— Я здесь, мой сынок... Не плачь... Ну не плачь...

А за окном менялась погода. С вечера прежде обычного смерклось. Дождь пошёл сильнее, гулко барабанил по крышам. Но с вечера же явственно потянул холодный северный ветер. И вдруг в ночи застучала по окнам ледяная крупа. Не та снежная, белая, словно пшено. А ледяная склянь. Это шёл дождь и замерзал на лету. Секло и секло по окнам, словно шрапнелью. А потом пошёл густой снег. К утру насыпало его по колено.

К рассвету прояснилось. Заря вставала уже зимняя, розовая. Хутор лежал вовсе тихий, в снегу, как в плену. Несмелые печные дымы поднимались к небу. Один, другой... За ними — третий. Хутор был живой. Он лежал одиноко на белом просторе земли, среди полей и полей.